

Уильям Уоллес

ЖИЗНЬ АРТУРА ШОПЕНГАУЭРА

Уильям Уоллес

Жизнь Артура Шопенгауэра

«Издательские решения»

Уоллес У.

Жизнь Артура Шопенгауэра / У. Уоллес — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-628377-0

Автор книги высоко оценивает философские идеи Шопенгауэра, особенно его понимание силы искусства и убеждение в том, что истинное счастье можно найти в гармонии с миром. Одновременно он не оставляет без внимания и недостатки философа, что придает работе объективность и глубину.

ISBN 978-5-00-628377-0

© Уоллес У.
© Издательские решения

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	6
Глава I	8
ГЛАВА II	13
ГЛАВА III	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Жизнь Артура Шопенгауэра

Уильям Уоллес

Переводчик Валерий Алексеевич Антонов

Иллюстратор Валерий Антонов

© Уильям Уоллес, 2024

© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024

© Валерий Антонов, иллюстрации, 2024

ISBN 978-5-0062-8377-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СОДЕРЖАНИЕ

Властителями философии в Германии обычно были профессора университетов; в Англии – представители внешней публики; причины и следствия, преимущества и недостатки каждого из этих обстоятельств; Шопенгауэр больше похож на английского, чем на немецкого философа; фундаментальные различия между его ранним обучением и обучением его немецких предшественников; его презрение к историческому методу в теологии и философии; его определение истинной философии истории; функция истории только вспомогательная и иллюстративная; Шопенгауэр завоевал аудиторию среди людей, потому что он помог освободить ум от исторической атрибутики

ГЛАВА II.

Артур Шопенгауэр родился в Данцике 22 февраля 1788 года; голландское происхождение; национальные особенности, унаследованные даже на чужбине; наследует голландскую меркантильную гордость; предки; отец; мать; их домашняя жизнь; рождение; ранние годы; Данцик влился в Прусское королевство; история Данцика; Шопенгауэры переезжают в Гамбург, 1793; влияние республиканского духа Данцика; инвертированное образование – опыт предшествует книгам; взгляд отца на коммерческое образование; едет в Гавр, 1797; возвращается в Гамбург, 1799; учится там; не любит перспектив коммерческой жизни; отказывается от альтернативы, предложенной отцом; отправляется с родителями в путешествие по Европе, 1803—1805; три месяца в Уимблдонской школе-интернате; первые черты характера и впечатления от путешествия; поступает на работу в купеческую контору в Данцике, 1804, и в Гамбурге, 1805; посещает лекции Галля по психической физиологии; смерть отца, апрель 1805 года; мать уезжает в Веймар, пользуется успехом в обществе и литературе; попадает под влияние романтизма; определение романтизма; неудовлетворенность жизнью; мать соглашается на его уход из коммерции; благодарность отцу

ГЛАВА III.

Развитие классической науки, особенно Г река, в первые годы нашего столетия; Шопенгауэр посещает школу в Готе и Веймаре, 1807 год; его увлечение классикой; напряженные отношения с матерью из-за их противоположных характеров; его личное имущество; поступает в Геттингенский университет, октябрь 1809 года; положение философии в то время; его взгляды на Платона и Канта; жизнь в Геттингене; встречает Виланда; переходит в Берлинский университет, 1811 год; презрение к «университетскому профессору»; обвинения в плагиате, выдвинутые против него; контраст между ним и Фихте; в связи с восстанием Пруссии против Наполеона переезжает в Рудольштадт, 1813; получает степень доктора в Йене; публикует докторское сочинение «Философский трактат о четырехкратном корне принципа достаточного основания», 1813; его качества и метод; возвращается в Веймар; дальнейшие и окончательные разногласия с матерью; кто был виноват? его взгляды на наследственность воли и интеллекта; теория света Гете; он ищет поддержки у Шопенгауэра; тот переезжает в Дрезден, 1814; его эссе «О зрении и цветах» (опубликовано, 1816)

ГЛАВА IV.

Жизнь Шопенгауэра в Дрездене; его пессимизм; его презрение к низшей, физической природе человека; его возражения против материализма и спиритуализма; его «необходимое кредо – „Я верю в метафизику“»; постепенный рост его философии; его утверждение, что мы можем достигнуть истинной философии только искусством, а не наукой; Его определение истинной философии и истинного философа; его взгляд на гениальность – насколько он верен; его главное чтение в философии; трудности с издателем; «Мир как воля и идея», опубликованный в 1818 году; его прием; его собственное мнение о работе; его двойственный характер как человека и как мыслителя.

ГЛАВА V.

«Мир как воля и идея»: изложение не системы, а одной идеи; стиль; не академический дискурс, а евангелие жизни; Шопенгауэр ведет войну против материалистической философии ученых; главное место в философии принадлежит не рассудку, а воле – системе чувств и желаний; Реалии» науки – это просто видимость (идеи), наука никогда не может дать окончательного объяснения реальности; истинная философия соединяет идеи с реальностью, ее фундаментальный принцип – тождество в человеке между воспринимаемым (материальным) телом и ощущаемой (нематериальной) волей; этот принцип обсуждается; его применение к Вселенной в целом; Воля как метафизическая сила; Обладая интеллектом, человек утратил свое первоначальное единство со всеми вещами, но с его помощью он может вновь обрести это единство чувств; В художественном гении это единство чувств находит наиболее полное выражение; Функция искусства – раскрыть это единство бытия; Незнание человеком этого единства приводит к его эгоистическому стремлению к счастью и, как следствие, к правонарушениям, которые закон может не более чем обуздать; функция морали – очистить индивидуальную волю от ее эгоизма; высшая жизнь – это жизнь человека, который, умертвив похоть жизни, поднялся от естественной к духовной воле.

ГЛАВА VI.

Современное увлечение Италией; Шопенгауэр посещает Италию, 1818; его жизнь там; финансовые затруднения; его характерное поведение в этом вопросе; становится преподавателем колледжа в Берлине, но терпит неудачу, 1820; ревнивые подозрения его соперников; его несдержанность приводит его к тяжбе с одной из проституток; посещение Швейцарии и Италии; улаживание спора с хозяйкой; его грубый, страстный характер; его любовные связи; его взгляды на женщин и сексуальность; попытки завоевать популярность; предлагает перевести Канта на английский язык; другие переводы; переезжает во Франкфорт в связи с появлением холеры в Берлине, 1831.

ГЛАВА VII.

Возобновление переписки с матерью и сестрой; переезд в Мангейм, 1832; окончательное поселение в качестве закоренелого холостяка во Франкфорте, 1833; его оценка относительных преимуществ молодости и возраста; недостатки молодости; философия – его главное утешение; его жизнь во Франкфорте; его представления об истории и литературе, и о преимуществах классического образования; его любовь к животным; его возражения против газет; публикует работу «О воле в природе», 1836; ее метод; его по-прежнему не ценят; получает премию за эссе о свободе воли, 1838; но другое эссе об основах морали отвергается; его последующий гнев и общее нетерпение любого соперничества или оппозиции, или даже молчания относительно его работ; обсуждение двух его эссе, опубликованных в 1841 году под названием «Две фундаментальные проблемы этики»; второе издание «Мир как воля и идея», 1844 г.; его работа была оценена по достоинству, отчасти вследствие роста исторической критики, научного материализма и демократии, к которым он не питал симпатий; восстание во Франкфорте, 1848 г.; главные из его первых учеников; обсуждение его «Parerga и Paralipomena» (опубликовано в 1851 г.); его жажда публичных аплодисментов; основная масса его приверженцев из широкой публики, которой импонировали многие моменты его философии, а также его стиль и метод; его портреты; дальнейшие причины недовольства университетами; его удивленная жизнь и образ жизни во Франкфорте в последние годы жизни; его смерть, 2 сентября 1860 года.

Глава I

ФИЛОСОФЫ в Германии занимают в литературном содружестве место, отличное от того, которое они занимают у нас. За некоторыми яркими исключениями можно сказать, что в Англии, по крайней мере до сегодняшнего дня, источник философского русла находился не в университетах, причем профессиональный элемент имел совершенно второстепенное значение. В Германии, напротив, сокровища ученой мудрости были доверены на хранение избранному официальному ордену – преподавателям университетов.

Было бы нецелесообразно выяснять скрытые причины этого обстоятельства или указывать, как оно связано с более общими контрастами в социальной и политической системе двух стран. Здесь также не представляется возможным подробно обсуждать выгоды и потери, которые возникают в зависимости от того, как идеальные интересы общества в области науки, искусства или религии управляются – на основе более или менее прямого делегирования верховной власти в государстве или оставлены на усмотрение энергии, предприимчивости и доброй воли частных агентств. Однако очевидно, что многое зависит от того, какая схема будет принята. Без направляющего контроля со стороны академической системы возможны растраты и неправильное направление усилий, риск несогласованности и неравномерности в развитии, склонность к эксцентричности. Но, в качестве компенсации, самоучка и независимый мыслитель освобождается от опасностей конвенционализма, и он занимается великими проблемами жизни и мысли не потому, что это его официальный долг – сказать что-то по ним, а потому, что его собственные размышления заставили его осознать трудности и искать решения своих трудностей.

С другой стороны, немецкая философия уже несколько столетий имеет непрерывную традицию, более или менее единообразную лексику и обиход, что обеспечивает достаточно высокий уровень мышления даже для посредственных умов, а для умов более высокого уровня дает дисциплину, которая предохраняет от многих экстравагантностей. Отсюда, в целом, более точный стиль мышления, более тонкая сила логического анализа. Но эти преимущества уравновешиваются. Философия в Германии, как иногда говорят, стала чем-то, написанным исключительно профессорами для профессоров или для тех, кто надеется когда-нибудь стать профессором. В стремлении заслужить аплодисменты своих братьев-экспертов писателя обвиняют в том, что он теряет связь с широкой публикой и здравым смыслом нации. Более узкий круг клиентов, обладающих более техническими знаниями, но и более подверженных предрассудкам и условным оценкам, несомненно, может отдавать свои голоса более разумно, однако специалист, даже специалист по философии, склонен терять истинное чувство пропорций, и его одобрение не может компенсировать отсутствие того народного сочувствия и интереса, которые так же необходимы для здоровья философии, искусства и религии, как и для гармоничного движения политической системы.

И опять же, поскольку философские высказывания в Германии осуществлялись в основном через установленный и одаренный порядок, они были в значительной степени связаны с интересами теологии и отрезвлены ее связью с общим механизмом государства. В неизбежном взаимообмене, правда, теология обрела более сильный и открытый дух, а философия осмелилась заняться более высокими вопросами, чем те, на которые могли бы рассчитывать в Англии. Превратившись в двигатель для подготовки молодежи, философия, несомненно, должна приобрести черты консерватизма и облачиться в магистерские одеяния, стесняющие ее движения; с другой стороны, она помогла повысить общую способность к практическому управлению, напав на ее идеальными элементами. Но в Англии, за некоторыми исключениями, и еще больше во Франции, философия в своих основных течениях была рупором оппозиции к установленному порядку верований класса или отдельных личностей, непокорных той орто-

доксальной философии, которая укоренилась (хотя и не под именем философии) в великих церковных учреждениях страны. Термин «философ», а тем более «philosophe», ассоциируется с тенденцией к свободомыслию, неверности и радикальному антагонизму по отношению ко всему устоявшемуся. Возможно, в нетерпении к авторитетам философия иногда вела себя как необузданный Пегас, дико летящий в небеса или куда-то еще, в зависимости от обстоятельств.

Временами, как в случае с Гоббсом и Бентамом, она была неуклюжей и упрямой; как в случае с Локком, у нее была опасная склонность к банальности; и как в случае с Юмом, она, казалось, едва ли осознавала серьезность вопросов. Но, с другой стороны, английская философия редко забывала о своем близком родстве с великой матерью всех высших спекуляций – с тем грубым и несовершенно организованным субстратом народного мнения, из которого она вечно возникает, и придать четкую и ясную реорганизацию которому всегда должно быть ее главной задачей. В то время как немецкая философия использовала свой собственный технический диалект, английская философия была написана на обычном литературном языке. Если она не всегда достигает достойного красноречия, которым обладают Бэкон и Милль, или даже Гоббс, она все же привлекает внимание своей честной простотой у Локка и энергичной дискуссионной силой у Бентама. В Германии все иначе. Правда, у Канта, как и у его великих преемников, есть отрывки, обладающие той силой, которую всегда имеют истинные и адекватные слова, чтобы достичь даже народного интеллекта: но в значительной степени эти писатели для своих соотечественников – книга за семью печатями. Не без оснований считается, что им достаточно было знать, что они говорят, чтобы не утруждать себя внятным объяснением этого другим. Их неясность была настолько необъяснима, что вульгарные люди объясняли ее как преднамеренную мистификацию.

Во многих из этих моментов Шопенгауэр больше напоминает Англию, чем Германию. Действительно, только после продолжительной борьбы он неохотно отказался от надежд на университетский пост и занял место среди вольных спекулянтов. Если бы это было возможно, он с радостью вступил бы в регулярную армию философских преподавателей и работал бы по ее правилам. Но ему предстояла другая работа. Он должен был стать апостолом язычников, необрезанных язычников, раз уж избранный культурный и образованный народ отказался его слушать. Для работы систематического учителя ему не хватало методической подготовки, а еще больше не хватало регулярного, точного и почти прозаического таланта, который выдает мудрость в осязаемых объемах для потребления аудиторией, привлеченной не философской страстью, а давлением академических предписаний. Но если он и не годился для того, чтобы быть учителем систематической логики и этики, в которых он никогда не был досконально сведущ, то по самому своему дилетантизму, по своим литературным способностям, по своему интересу к проблемам, как они поражают естественный разум, он был способен стимулировать, направлять, возможно, даже очаровывать тех, кто, как и он сам, в силу темперамента, ситуации, внутренних проблем, задавался вопросом «почему» и «зачем» всего этого непостижимого мира.

Он пришел к своей работе с другой подготовкой и предрасположенностью, чем большинство его философских соперников или предшественников. В длинном списке самых выдающихся учителей Германии, от Христиана Вольфа в конце семидесятых годов до Гегеля в конце восемнадцатого века, большинство из них, будучи детьми крестьян, или ремесленников, или скромных чиновников, вынуждены были пробиваться через скучные и крутые подступы к репетиторству или другой каторге, пока не получили гроши, положенные оплачиваемым государством учителям философии. Вместо тугого и тяжелого ярма, которое им приходилось носить, Шопенгауэр, получив легкие уроки в открытой книге природного и социального мира, в годы расцвета мужества, имея достаточный доход для самостоятельного пути, был предоставлен самому себе, чтобы сформировать и изложить свои убеждения о цели жизни и ценности вселенной. Это была не совсем выгода: его свобода была подобна независимости

голоса, вопиющего в пустыне: нелегитимизированный учитель оставался без внимания, а официальные философы, если и не сговаривались, как он дико предполагал, игнорировать его, то все же действовали, чувствуя, что едва ли в их строгом долгу исследовать притязания этого неаккредитованного миссионера.

Он так же мало усвоил исторические представления, особенно в области религии, которыми руководствовалась их молодежь. Поэтому ему не пришлось пережить почти ничего из того, что великие мыслители его предшествующего времени пытались превратить в постоянную ценность или идеальную значимость унаследованных ими теологических верований. От Канта до Гегеля теологическая предрасположенность доминирует в их внутренних размышлениях. Почти последняя работа Канта заключается в том, чтобы свести счеты между его все разрушающей критикой и религиозными догмами его евангелических учителей, чью внутреннюю истинность он все еще принимает. Фихте начинает свою карьеру с критики откровения в целом. Первым литературным произведением Шеллинга становится университетское эссе о философской ценности старых религиозных легенд, а его последние исследования воплотились в лекциях по философии мифологии и философии откровения. Гегель в часы досуга во время обучения в Швейцарии прорабатывает для себя внутренний и вечный смысл евангельской истории; и всего за два лета до своей смерти он читает лекции о так называемых «Доказательствах» существования Бога.

От всей этой примирительной работы Шопенгауэр избавил себя. Его воспитание привело к тому, что религия лежала в значительной степени вне его – формальная вещь, которая никогда не занимала всю его душу. Он не прошел через внутренние состязания веры и пришел к философии, имея лишь минимум унаследованного и принятого вероучения. Поэтому усилия по примирению казались ему лицемерными, как это естественно для тех, кто не вырос под историческим влиянием или не узнал, насколько индивидуальный интеллект, даже самый великий, зависит от великой исторической традиции веры и знания. Поэтому для Шопенгауэра было легко и естественно пройти мимо христианской теологии и современного христианства с презрительным фырканьем и простонать: *Factor Judaicus!* При этом многое в аскетизме и пессимизме раннего христианства было ему глубоко симпатично.

Но глубокое ощущение зла в мире и необходимости самоотречения, по его мнению, было затуманено под влиянием национального оптимизма и старых легендарных суеверий евреев. Именно по этим причинам он с восхищением обратился к менее исторически окрашенной религии Будды с ее более чисто человеческой схемой спасения. Дело не в том, что он отвергал чудо как таковое. Он отвергал ограничение чудес несколькими годами мировой истории, особым вмешательством, внеземным замыслом. Напротив, он учил о вечном присутствии чудесного в жизни и природе, о присутствии во всех вещах высшей реальности, которая никогда не перестает проявлять себя, превосходя закон причинности и ограничения пространства и времени. Поэтому для него христианство ошибалось, делая упор на историческую точность записи событий, ограничивая одним местом и человеком процесс искупления, вместо того чтобы увидеть, что его истины относятся ко всему времени и говорят обо всей вселенной. Не иначе учили философы, с которыми он так горько расходился. Только, хотя они подчеркивали внутреннюю гармонию между философией и религией, он не замечал внешнего разлада между отношением веры и отношением размышления.

Эта антитеза была частью устоявшегося презрения к чисто историческому, которым отличался Шопенгауэр. Для такого склада ума контраст между наукой и историей, которому учит вся философия, был преувеличен до полного обесценивания последней. Его современники, не в последнюю очередь Гегель, были заняты попыткой проникнуть в смысл существующей реальности с помощью исторического метода; они стремились показать, что медленный процесс истории является, под формой времени, постепенным раскрытием органических принципов, которые лежат в основе действительной жизни. Сгущенная и непрозрачная реаль-

ность настоящего (по их мнению) становится прозрачной и раскрывает свою внутреннюю структуру и расслоение только для того, кто шаг за шагом наблюдает за последовательным сгущением ее членов на протяжении истории. Таким образом, они приняли, но подчинили себе исторический метод в качестве органа философского исследования. Шопенгауэр вряд ли признает его ценность вообще. Проницательное воображение гения, то есть философа, каким он его себе представляет, может одним взглядом увидеть дальше и глубже, чем тусклый глаз простого ученого, даже при всей оптической помощи эрудиции и археологии. Так называемый прогресс, раскрываемый историей, по его мнению, является лишь заблуждением, вызванным неоправданным вниманием к некоторым случайностям декораций, драпировок и внешних форм. «Истинная философия истории, – говорит он (со скрытой ссылкой на современные попытки построить схему исторического прогресса), – состоит в том, чтобы понять, что при всех бесконечных изменениях и пестрой сложности событий перед нами лишь одно и то же неизменное существо, которое сегодня преследует те же цели, что и вчера, и что оно всегда будет преследовать. Философ-историк, соответственно, должен признать идентичный характер всех событий, древнего и современного мира, Востока и Запада; и, несмотря на все разнообразие особых обстоятельств, костюмов, манер и обычаев, он должен видеть везде одну и ту же человечность. Этот один и тот же элемент, сохраняющийся при любых изменениях, заключается в основных качествах сердца и головы – много плохих, мало хороших. Девиз философии в целом должен звучать так: *Eadem sed aliter*. Прочитать Геродота – это, с философской точки зрения, значит изучить достаточно истории. Ибо в нем вы уже найдете все, что составляет последующую историю, – поступки и занятия, жизнь и судьбу человечества, как они вытекают из вышеупомянутых качеств в сочетании с физическими условиями».

Было бы неблагородно принижать ценность исторических исследований и с доктринерской твердостью противостоять их очарованию. Но было бы еще хуже, чем неблагодарность, если бы мы не смогли противостоять простому порыву любопытства и принять пафос и очарование происшествия за свет разума. История, в строгом смысле слова, является лишь служанкой науки и философии: ее функция – вспомогательная и иллюстративная. Так называемый исторический метод служит лишь для исправления ошибок, в которые может впасть простой анализ концепций, если он проводится в отрыве от реального присутствия фактов; он исправляет голую теорию путем наблюдения за действительным функционированием идей в мире, но может проводить это наблюдение только с помощью преждевременной и ошибочной теории, которую он предполагает. Уроки истории, как и уроки опыта в целом, воспринимаются и оцениваются по достоинству только теми, кто уже имеет общее представление об истине, которую эти уроки должны подтвердить. По этим причинам можно извинить преувеличение, в котором Шопенгауэр помогает освободить разум от его вечного антикваризма – склонности поклоняться простому историческому и считать древние пелены истины, которую стоит сохранить, своего рода гарантией того, что истина не была украдена или потеряна. Именно антиквариат – экстравагантность интеллектуального поклонения реликвиям – порицает Шопенгауэр. Для многих хороших людей в этих старых одеяниях есть живописный пафос; но истина не в музеях и усыпальницах, где они лежат: она «воскресла».

Очарованием исторического обладают те, кто может отождествить себя и свою веру с прошлым. Это естественно для классов, которые наследуют свое положение, свои цели, свои обязанности; которые связаны узами любви, обычаями и послушанием с предыдущими поколениями. Но для бунтаря и революционера, для неортодоксальных и изолированных, для новых рабочих и мыслителей, которые должны постоять за себя – для того огромного множества людей в современном мире, которое постоянно дрейфует или отрывается от своих древних корней, – историческое никогда не может быть единственной необходимой вещью». Шопенгауэр завоевал аудиторию среди тех, кого лишили наследства (своего или чужого), духовного

или природного, потому что он отбросил все те атрибуты филологической и исторической эрудиции, которые культурный ученый ум способен причислить к самой сути дела. Люди чувствовали, что перед ними тот, кто обращается непосредственно к их нуждам, а не просто «книжник», излагающий догму, которую его наняли защищать, и которая стоит на заимствованном авторитете своей исторической родословной. Можно сожалеть о том, что между ученым и массой населения существует такое разделение. Но, к сожалению, факт остается фактом: именно это вмешательство исторической формы и материала отрезает подавляющее большинство мира от прямого доступа к истине. Именно это делает девять из каждых десяти проповедей такими неэффективными, а то и вовсе бессмысленными для их слушателей. Эту историческую перегородку Шопенгауэр не преодолевает полностью; но, по крайней мере, он менее охвачен и затруднен ею, чем большинство его соперников. Отсюда его успех в тех кругах, где философия редко слышит свое имя и тем более не чувствует своего влияния.

ГЛАВА II

Артур Шопенгауэр родился в Данцике 22 февраля 1788 года.

По обоим родителям он мог претендовать на голландское происхождение. Среди этих предков традиции его семьи особенно хранили память о прадеде его матери, который занимал какой-то церковный пост в Горкуме (или Горинхеме) в Голландии, и эта память была еще достаточно свежа, чтобы юный Шопенгауэр вместе с родителями отправился на место, где проповедовал их праотец. Три поколения назад от 1788 года приведут нас ко времени смерти Спинозы (21 февраля 1677 года). И не без причудливого патологического интереса мы слышим, что Шопенгауэр, гордившийся своим интеллектуальным родством с великим евреем, так много думал об этих датах, что по странному совпадению записал, что он появился на свет ровно через год и один день после того, как Спиноза покинул его.

Возможно, влияние его голландской родословной имеет большее значение, чем эти фантазии о странном переселении душ через циклы времени. Несомненно, легко впасть в фантастические аналогии, пытаясь проследить доказательства сохранения национальных особенностей у тех, кто давно расстался с землей своих предков. Но это лишь дешевый скептицизм, который предпочитает полностью игнорировать влияние, потому что оно таится в неясности и не поддается точной оценке. Органические воспоминания о расе и семье сохраняют свою силу и в новых условиях. Биографы святого Франциска Ассизского, пораженные его страстной симпатией ко всем полевым и лесным существам и его пылкой поэзией, иногда заходили так далеко, что искали объяснение не в простых ассоциациях с Провансом, а в гипотезе о принадлежности его матери к той земле Франции, от которой он получил свое имя. Другие находят значение в том, что отец легкомысленного Боккаччо взял жену из дочерей Парижа. Подобные примеры того, как наследственные черты характера преобладают на чужой почве, можно увидеть и в истории философов. Стоицизм и более поздние секты греческой мудрости обязаны некоторым своим тоном и оттенком восточной крови, которая текла в жилах многих их приверженцев. И, переходя к более поздним временам, вряд ли можно не увидеть в осторожности, сухом юморе, сочетании хладнокровия и пылкости Канта признаки его шотландского происхождения.

А от последнего философа, который был страстным учеником географии и антропологии и имел много возможностей наблюдать национальные типы в смешанном обществе своего родного города, мы можем получить некоторое представление о том, какие последствия может оставить после себя голландская меркантильная родословная. Коммерческий дух, отмечает Кант, имеет общее сходство с нравами аристократии повсюду. Он по сути своей несоциален. «Один дом – так купец называет свою контору – отделен от другого деловыми обязательствами так же основательно, как один феодальный замок от другого своими разводными мостами, и всякое дружеское общение, свободное от церемоний, запрещено». Но у голландского капиталиста есть своя особенная фаза меркантильной гордости. В то время как англичанин говорит: «Этот человек стоит миллион», а француз: «Он владеет миллионом», голландский купец смотрит на того, кто «командует миллионом». А голландская гордость вообще отличается от других форм наглым презрением к другим, надутым самомнением, не считающимся с чужими чувствами и готовым перейти в грубость. Пока Кант. Мы увидим, что Шопенгауэр слишком часто оправдывает этот прогноз.

Но, как бы ни относиться к фактору передачи моральных типов, эти предки из Нидерландов на протяжении двух или трех поколений были открыты всем социальным и политическим влияниям Данцика, где они поселились в ходе торговли.

В начале XVIII века Андреас Шопенгауэр, прадед автора этого рассказа, был арендатором одной из крупных ферм, принадлежащих муниципалитету, и совмещал, как многие,

дела купца с более спокойными интересами сельского земледельца. Его сын, другой Андреас, продолжил ту же семейную карьеру, сочетая меркантильные и земельные занятия. Он приобрел участок в Охре, южном пригороде Данцика; там, в своем доме, среди обширного сада, он и провел свои дни. На том же месте после его смерти в 1794 году еще несколько лет жила его вдова, но уже под опекой, поскольку считалось, что она вряд ли способна самостоятельно управлять своими делами. От нее дети этого Андреаса, по-видимому, в разной степени унаследовали врожденную слабость или неуравновешенность духа. Старший сын, также названный Андреасом (умер в 1816 году), с юности был имбецилом. Второй сын, умерший в 1795 году, оставил после себя характер глупой и позорной расточительности. Младшим в семье и отцом философа был Генрих Флорис, родившийся в 1747 году.

Генрих Шопенгауэр, по-видимому, получил весь тот ум и настойчивость, которых были лишены некоторые из его братьев. Вместе с другим братом, Джоном Фредериком, который умер молодым, он создал для их фирмы характер предприимчивости и успеха, которому не было равных среди купеческих домов старого ганзейского города. Доминирующей чертой его натуры была решительная целеустремленность, страсть к независимости и отличию, которая стремилась к большему, чем меркантильная выгода. В городе он выделялся своей осведомленностью в делах, космополитическим складом ума и репутацией человека, которого можно назвать «передовым» или «просвещенным». В своих суждениях о глубоких проблемах человеческой жизни он был учеником школы Вольтера. Он был хорошо начитан в легкой – а тогда она часто была и более фривольной и неморальной – литературе Франции и Англии. Его вкусы соответствовали амбициям кавалера и аристократа, которые разжигали купеческие князья в итальянских республиках. Эта поверхностная культура была неравноценна его телесным достоинствам. Квадратный и мускулистый корпус, широкое лицо с широким ртом и выдающейся нижней челюстью не придавали ему вид Адониса; но они в достаточной степени указывали на избыток жизненной силы и самоутверждения, а также на мощную силу, мало сдерживаемую деликатностью, грацией или сочувствием. Физическая твердость слуха усиливала дух замкнутости и легко приводила к тому, что казалось упрямством и суровостью.

В девичестве мать Артура Шопенгауэра звали Иоганна Генриетта Трозинер. Она тоже родилась и воспитывалась в одной из семей, управлявших политикой Данцика. Ее отец, член городского совета, принадлежал к партии, которая хотела приспособить конституцию к современным требованиям, в то время как Генрих Шопенгауэр больше верил в способность старой патрицианской системы благополучно пережить бури времени. Как и его будущий зять, он тоже был человеком, много путешествовавшим, и приобрел вкус к тем литературным и художественным украшениям жизни, которых Данцику все еще не хватало. К сожалению, не меньше он походил на него и по вспыльчивости. Когда на него обрушивались приступы ярости, его дети трусили перед бурей, но его жена позволяла пустой буре проноситься мимо нее без помех. От нее Джоанна переняла: легкий, радующийся жизни нрав, быстрый наблюдательный глаз и ловкую артистическую руку; аккуратную фигурку (по крайней мере, в раннем возрасте) с ясными голубыми глазами и светло-каштановыми волосами; скорее грациозную и очаровательную, чем красивую; всегда немного осознающую свои достоинства и склонную к самодовольству. Ее воспитание было построено на более широких принципах, чем обычно предписывали юным девам в Данцике или где-либо еще в то время. В раннем возрасте красавица Джоанна привлекла внимание соседа своего отца по городу, доктора Джеймсона, эдинбургского священника, который заботился о духовных нуждах британской колонии. Под его дружеским руководством ее чтение было более широким по диапазону и более стимулирующим по качеству, чем можно было ожидать от заурядных тем школьного курса. К сожалению, этот отзывчивый наставник был отстранен от нее примерно во время ее замужества: шотландский священнослужитель был вынужден, возможно, из-за коммерческой депрессии того времени, покинуть Данцик и отправиться на родину. Но у Иоганны был и свой воспитатель – своего рода

юношеский «доминик Сэмпсон», чья восприимчивая грудь была настолько сражена ее очарованием, что однажды, когда ей было всего тринадцать лет, она была поражена его открытым признанием в любви. От непрошеного поклонника вскоре избавились, но не стоит забывать, что в возрасте восемнадцати лет (она родилась в 1766 году) эта очаровательная девушка привлекла внимание и восхищение Генриха Шопенгауэра, которому тогда было тридцать восемь. Будущий жених, конечно, был далеко не красавцем; но некрасивое лицо уравнивалось видным положением в городе, репутацией способностей и мужества, престижем хорошо устроенного заведения, не говоря уже о явно сильной и искренней любви. Как бы то ни было, она не заставила своего ухажера долго ждать благоприятного ответа и, не признаваясь ему в привязанности, которую едва ли испытывала, согласилась стать его женой. После очень короткой помолвки они поженились 16 мая 1785 года, не обращая внимания на наказания, которые вульгарная вера во многих регионах налагает на брак, заключенный в мае.

Молодая жена поселилась в загородном доме мужа. Примерно в четырех милях к северо-западу от Данцика, немного южнее главной дороги, ведущей из Стрисса в Оливу, стояло несколько вилл, принадлежавших данцикским купцам, которые тогда, как и сейчас, искали летом отдохновения от жары и шума своего оживленного города. За этими виллами возвышается поросшая лесом гряда невысоких песчаных холмов, выходящих на Балтику и образующих крайний оплот той волнистой гряды лесов, которая покрывает внутренние районы Помереллена. Одна из этих дач, в направлении Оливы, была летним домом Шопенгауэра. Однако только с субботы до понедельника хозяин дома выходил из дома, чтобы провести с женой те немногие часы досуга, которые он позволял себе за письменным столом. Но и тогда он обычно приводил с собой пару друзей из города, а в воскресенье за их столом собиралось еще несколько гостей. Лишь однажды за всю неделю жена вспомнила о визите мужа, и это случилось, когда однажды – хотя это было особенно напряженное время – он выехал из города, чтобы сообщить о падении Бастилии. Но кроме таких редких случаев, Джоанна в одиночестве наслаждалась сокровищами и удовольствиями, которые могла предложить вилла. Внутри были гравюры и слепки с классических и известных произведений искусства, хорошо сохранившаяся библиотека французской и английской литературы, особенно сильная по романам: без террасы был сад с древними вязами и буками, пруд с лодкой, достаточно легкой для управления одним человеком, спаниели, восемь петламов (эти два колокольчика звенели на октаву, когда они вместе играли), и пара лошадей в конюшне: В то время как в двух-трех милях отсюда, в вечном разнообразии от дня к дню и от часа к часу, лежало или металось Восточное море между Данцикской гаванью у Нойфарвассера на востоке и мысом Йонг, поросшим песком, который изгибается с запада и заканчивается маяком у Хелы.

В такой обстановке, сменяемой переездом в город с наступлением зимы и периодическими визитами в родительский дом, Иоганна провела два первых года супружеской жизни – пленница любви, для которой легкость этого *doles far niente* была пронизана периодической тоской по более широкой жизни и более определенной сфере деятельности. Так продолжалось и после рождения первого ребенка. И все же то, что ее сын Артур впервые увидел свет в доме №117 по Хайлигенгейштштрассе в Данцике в 1788 году, можно назвать случайностью. В середине лета предыдущего года супруги отправились в первое из тех путешествий, которые надолго стали привычными в их жизни. Шопенгауэр, который, как и многие континенталы восемнадцатого века, считал Англию обетованной землей свободы и разума, намеревался, чтобы его ожидаемый ребенок родился на английской земле и пользовался теми благами, которые достаются таким коренным жителям. Но, коль скоро такая цель существовала, она потерпела неудачу; и эта неудача стала первым несчастьем, которое, можно сказать, пересекло путь философа. После путешествия через Пирмонт, Франкфорт и Париж они добрались до Лондона и провели там несколько недель, но внезапный приступ домашней болезни молодой жены привел к поспешному возвращению в Данцик, через Северную Германию, в самый разгар зимы.

Ребенок, который таким образом появился на свет как уроженец Германии, в одном из двухэтажных домов старого ганзейского городка был крещен 3 марта в Мариенкирхе под именем Артур – выбор, как рассказывают, был продиктован желанием отца наделить будущего главу фирмы поистине космополитическим христианским именем. Следующие пять лет юный Артур рос, как и другие дети, кумиром и отрадой своей матери.

В год его рождения Штутхоф – луговая ферма, которую более полувека назад держал Андреас Шопенгауэр, – освободилась, и отец Иоганны воспользовался возможностью арендовать ее, чтобы сменить обстановку и воздух для своих детей и обеспечить легкое занятие для себя. Ферма, примыкавшая к одноименной деревне, находилась на самой восточной границе территории Данцика, заключенной между Балтийским морем и рукавами Вислы. Самой восхитительной особенностью этого места был благоухающий сосновый лес, покрывавший песчаные спуски (*diinen*) у моря, и посетители надолго запомнили сладкие ноты звона коровьих колокольчиков, когда стадо паслось в те свежие солнечные дни, когда весна наконец-то врывается в эти пейзажи с венками зелени и цветов. В Штутхоф каждый май Иоганна приезжала с ребенком, чтобы провести месяц, в то время как ее муж был слишком загружен деловыми заботами, чтобы найти время для своего еженедельного визита в Оливу. В усадьбе все еще висели реликвии прежних времен и уклада. Здесь можно было увидеть интересный памятник феодальных обычаев – времена, когда зависимые крестьяне были обязаны выполнять оговоренную работу на господина в присутствии судебного пристава с кнутом. Старый слуга помнил еще времена Андреаса Шопенгауэра и с удовольствием рассказывал посетителю, как этот достойный человек покрыл себя славой по случаю пребывания здесь царя Петра в 1718 году. Когда великий царь и его супруга Екатерина оказали ему честь, решив провести ночь в его покоях, которые были без печей, их хозяин быстро решил проблему отопления, поджег несколько галлонов бренди, которые были вылиты на каменный пол, и таким образом распространил по комнате пары спиртного тепла, наиболее приемлемые для императорской четы.

Ребенок тем временем обнаружил, что жизнь на ферме полна приятных сюрпризов. Однажды его застали стоящим перед большим сосудом, наполненным молоком, и просящим ботинок, который он бросил туда, выпрыгнуть обратно. Этот случай, запечатлевшийся в его памяти, заставил его сделать в своих ранних записях следующие душещипательные замечания: «Ребенок не имеет представления о неумолимости естественного закона и о жесткости, с которой все придерживается своей собственной природы. Он верит, что даже неодушевленные вещи немного уступят ему; возможно, потому, что он чувствует себя единым целым с природой, возможно, потому, что, не зная истинной сущности мира, он считает его своим другом. ... Еще более поздний опыт учит, что человеческие характеры тоже негибемы, и показывает нам, что никакие уговоры, представления, примеры или доброта не могут заставить их отклониться от своего курса; напротив, каждый должен следовать своему особому образу поведения, характеру и способностям с неотвратимостью закона природы».

Тем временем вокруг бессознательных голов матери и ребенка стремительно завершался последний акт долгой политической борьбы. Данцик, которому его поклонники присвоили гордое звание «Северной Венеции», был быстро окружен растущей мощью Пруссии и в бессильной ярости бился против неизбежной гибели от поглощения. Сегодня трудно осознать яркую силу принципа республиканской автономии, которым руководствовались «вольные города», и глубину их неприязни к противостоящим им самодержавным княжествам. Для высших слоев такого общества чувство гражданства было предметом гордости, которое они не променяли бы ни на какую должность достойного слуги при дворе князя или короля. Последовательные шаги в развитии прусской монархии были столькими ступенями процесса, урезавшего эти привилегии. И такие люди, как Генрих Шопенгауэр, с его традицией голландской свободы, остро ощущали контраст между прежней виртуальной независимостью и поглощением тем, что тогда казалось просто военной деспотией низкого и механического типа. Поэтому неуди-

вительно, что исход борьбы глубоко затронул их чувства. Теоретически Данцик был частью Польского королевства, и его подданство находилось за пределами Германии. Практически же это было самостоятельное государство. История Данциха имела свои прелести для его патриотически настроенных граждан. Они могли вернуться в четырнадцатый век, когда после ранней борьбы с окружающими их польскими племенами они стали подчиняться великому Тевтонскому ордену, стремившемуся укрепить веру и обратить язычников на этих тогдашних полудиких равнинах. Но слава и сила Данциха проистекали из его участия в Ганзейском союзе, и по мере того, как его жители становились все более сильными и богатыми, они не могли смириться с господством приходящего в упадок Ордена. В 1454 году они сбросили иго и разрушили замок рыцарей, а в результате двенадцатилетней войны добились фактической независимости, подчиняясь неопределенному и редко применяемому сюзеренитету королей Польши. Шестнадцатый век, после того как восстание в Нидерландах закрыло от голландцев католические порты на юге, стал самым процветающим в истории Данцика. Его торговля – в основном зерном, которое спускалось по реке на баржах, укомплектованных польскими экипажами, – простиралась до Испании и Италии; из южных портов шел встречный поток обмена в виде идей и искусств.

Дома и церкви Данцика свидетельствуют о примерах итальянского ренессанса; одни из его ворот имитируют работу Саммичеле в Вероне; а способная молодежь города поощрялась даже «стипендиями» или «выставками», чтобы получить в Падуанском университете юридические знания, которые, подобно *jus civile* в сенаторском Риме, считались самым необходимым и самым почетным образованием в торговой республике. В Данцик, как и в остальную Германию, семидесятый век принес бедствия Тридцатилетней войны; он принес также, и особенно, череду междоусобных войн, пограничных набегов, совершаемых честолюбивыми и беспокойными авантюристами, и усилил жестокость контраста между хищным богатством и недовольным населением. Правительство все больше переходило в руки клики; а народная масса, лишенная возможности пользоваться служебными благами, свободно обвиняла правящий класс в нечестности и кумовстве. В 1734 году город, из-за того, что в его стенах укрылся Станислав Лечинский, французский кандидат на корону Польши, подвергся ожесточенной пятимесячной осаде русских войск, которая закончилась его капитуляцией и выплатой тяжелой денежной репарации победителям.

Польская катастрофа стала также крахом независимости для Данциха. В этом падении было несколько этапов. В 1772 году произошло первое из тех национальных преступлений, которые известны как разделы Польши. В соответствии с этим соглашением, по которому к Пруссии отошли все остальные польские области к западу от Нижней Вислы, Данцик получил номинальную автономию. Но Фридрих Великий был недоволен этими условиями, навязанными ему ревностью России и других держав. Владение Данциком было необходимо для торгового единства его королевства. Поэтому он занял свои позиции в окрестностях – он был хозяином форта Вейхсельмунде у гавани, а также внутренних районов – и сделал это место слишком жарким для его жителей. Таможенный барьер настолько полностью закрывал город со всех сторон, что патриции, навещая свои пригородные резиденции в Оливе или даже в Лангефуре, расположенном за воротами, вынуждены были терпеть наглость, а возможно, и поборы таможенных чиновников, которые с любопытством расспрашивали их о вине и провизии, которые они привозили с собой. Даже простые формальности *douane*¹, которыми занимались французские служащие, могли вызвать раздражение, когда их выполняли в таких мелочах. Городской совет, понимая опасность ситуации, предпринял попытки компромисса с Пруссией; но их усилия были сорваны невежественными криками об измене, которые исходили от низших слоев населения.

¹ таможня

Пока длился этот конфликт в вопросах таможни, Генрих Шопенгауэр, который весной 1773 года возвращался домой после долгого отсутствия в чужих краях, имел беседу с прусским королем в Потсдаме. Разговор, естественно, зашел о практически заблокированном городе. Король убеждал купца поселиться в Пруссии, и хотя его доводы не возымели действия на человека, чей девиз был *Point de bonheur sans liberte*, он послал республиканцу официальное разрешение, позволяющее ему беспрепятственно поселиться на любой части прусской территории. Таким образом, в течение нескольких лет эта досадная слежка продолжала беспокоить жизнь и разрушать торговлю Данцика, по крайней мере, тех его частей, которые все еще находились за пределами прусского владычества. В один из таких случаев, уже в 1784 году, командующий войсками инвеституры, разместившийся в доме старого Андреаса Шопенгауэра в Оре, предложил продемонстрировать свое уважение к любезности своего гостя, разрешив пропускать через линию фураж для прекрасных лошадей, которыми славился сын его хозяина Генрих. «Передайте командиру, – ответил тот, когда предложение было доведено до его сведения, – что мои запасы полны, и когда они закончатся, мои лошади будут убиты».

После смерти Фридриха Великого в 1786 году наиболее легкомысленные жители Данцика радовались, как будто все опасности остались позади. Но более мудрые головы рассуждали иначе. Если немецкое оружие и не снискало славы в походах против революционной Франции, то оно, по крайней мере, было достаточно сильным, чтобы окончательно утихомирить республиканские беспорядки в Данцике. В соответствии с программой второго раздела Польши, 8 марта 1793 года прусский корпус прибыл в город, чтобы завершить аннексию; и после нескольких недель отсрочки, предоставленной генералом, чтобы унять гнев преданного народа, Данцик перестал существовать как «вольный город». Шопенгауэры не стали дожидаться конца. Как только появился враг, Генрих решил уехать; с женой и ребенком он ночью отправился в свой загородный дом, а на следующий день поспешно двинулся через Померанию по дороге в Гамбург. Этот переезд был дорогостоящим делом, связанным не только с естественными потерями от поспешной принудительной реализации капитала, но и с дополнительным наказанием в виде пошлины в размере 10 процентов, которую кандидат на экспроприацию должен был уплатить фискальным властям.

Так в возрасте пяти лет Шопенгауэр последовал за своими родителями в изгнание. Хотя они поселились в Гамбурге, и хотя отец занимался там бизнесом в течение следующих двенадцати лет, он так и не стал натурализованным гражданином. Что-то сломалось в гордом духе. Он отказался снова ступить на землю Данцика и лишь раз в несколько лет разрешал жене навещать родственников. И все же влияние торговой республики сыграло первостепенную роль в формировании характера отца и сына. Как и во всех подобных влияниях, в нем есть свое добро и свое зло. Его благо – это бесстрашие и смелость взглядов, независимость суждений, прямота и простота целей. С другой стороны, республиканизм в таких масштабах склонен быть гордым и недисциплинированным, порождать анархический нрав, не способный работать в регулярной упряжке или вносить свою лепту в совместный труд. Руководители крупных фирм легко впадают в повелительное, диктаторское и эгоистическое настроение. Весь город с его олигархической формой правления испытывает недостаток в цивилизующем эффекте регулярной власти, переданной в руки того, кто слишком высок, чтобы быть простым деспотом. Беззаконие духа, действующее среди пут искусственной правовой системы, способствует формированию необузданных характеров, которые больше стремятся обеспечить свои права, чем внимательно относятся к своим обязанностям. Чисто меркантильная жизнь сопровождается определенной грубостью и жесткостью. О нравах этого места можно судить по тому, что для охраны больших зернохранилищ на Зерновом острове держали дикую породу собак, хотя известно немало историй о несчастных лодочниках с кукурузных барж, которые без всякого злого умысла укрывались в этих сараях и были разорваны на куски своими клыкастыми стражами. Многие черты физического и психического склада такого города вновь про-

являются у Шопенгауэра. Из семьи и города банкиров и торговцев, чьим главным интеллектуальным занятием является юриспруденция, а культура не выходит за рамки поверхностного лоска искусства и литературы, он – первый отпрыск, который выходит на более высокие рубежи интеллектуальной жизни. При таком переходе силы из одной сферы в другую в новой фазе неизбежно будет присутствовать определенная безлюдность, но также и несомненная энергичность, честность и даже большая оригинальность. Новая сила свежа, спонтанна и не затаскана; она более цельная, менее рассеянная побочными целями и второстепенными соображениями.

Годы, проведенные молодым Шопенгауэром в Гамбурге (1793—1807), образуют второй фактор в развитии его ума и натуры, который не менее опасен, чем среда его младенчества. Это годы его первого образования, причем образования совершенно особого типа. Для большинства молодых людей его жизненного положения период между пятым и двадцатым годом жизни проходит в регулярной дисциплине, в однообразных и искусственных условиях. Ученик редко бывает предоставлен самому себе, как в школе, так и дома, но с помощью ряда методично организованных заданий знакомится с применением определенных общих принципов к заранее выбранному и подготовленному вопросу. В качестве основных инструментов обычно используются книги и устные наставления.

Прямого контакта с миром опыта, в целом, удастся избежать. Ученики живут в абстрактном и почти выдуманном мире; таким образом их широко и «либерально» готовят к реальному миру, от которого, как запутанного и, возможно, порочного, их тщательно отделяют. Их умы знакомят с правилами и принципами, с формулами и заповедями, которые им предлагают воплотить и применить в ряде отобранных примеров. Помимо всего прочего, им преподносят схему моральных и религиозных предписаний, на которой, как им внушают, прочно основываются сложные детали реальной жизни. Мир, с которым они имеют дело, – это мир упрощенный, сведенный к тому, что мудрость веков согласилась признать его сущностной реальностью. Именно через такую карьеру шопенгауэровские временщики подходили к жизни – они видели ее через книги, общие категории и исторические формы. Их способность рассуждать была развита на сравнительно абстрактных предметах. В случае Шопенгауэра первыми были задействованы способности восприятия, наблюдения, суждения, когда он имел дело с сырым материалом жизни. Его обучение было отрывочным и спазматическим, и в школу и колледж он пошел только после того, как совершил свое грандиозное путешествие по Европе, а не до него, как другие. И все же не стоит преувеличивать разницу, и в любом из этих курсов есть свои опасности. Если обычный ученик склонен переоценивать формы, слова и рассуждения, то исключительная карьера того, кто предоставлен самому себе и лишь понемногу заимствует знания у многих случайных мастеров, склонна порождать свои особые заблуждения. Придавая мыслям яркую и живописную реальность, облекая абстрактные идеи в их реальные примеры, она нередко приводит к расшатыванию принципов и принимает иллюстрацию за аргумент. В изучении одних только слов, несомненно, есть опасность; но, в конце концов, слова – это само тело и реальность мысли, и не понимать их применения и границ – серьезный недостаток в подготовке к битве за жизнь.

Старший Шопенгауэр, гордившийся своим делом, стремился к тому, чтобы сын пошел по его стопам. Для достижения этой цели он полагал – и, вероятно, благоразумно, – что было бы ошибкой слишком углубляться в общие идеи и фундаментальные принципы. Коммерция нуждается не в высших концепциях, а в принципах среднего диапазона, правилах практической мудрости, вытекающих из знаний мира и способных стать бесполезными или вводящими в заблуждение, если их рафинировать и сделать слишком универсальными. Ее знания – это аксиомы СМИ – гарантированные максимы детального опыта, который отбрасывает всякий научный идеализм. Чистый дух коммерции космополитичен и реалистичен. Для его практической оценки история и исторические исследования стоят рядом с главными вопросами жизни, а национальные интересы рассматриваются как простое наследие устаревшего уровня

цивилизации. Изучение языков представляет интерес только потому, что это необходимость, обусловленная коммерческой ситуацией: раннее овладение языковыми средствами общения необходимо тому, кто хочет завоевать свой путь в мире. В противном случае время, потраченное таким образом, пропадает зря; и Шопенгауэр-старший мог бы согласиться с Лейбницем, что «если бы в мире существовал только один язык, человечество сэкономило бы третью часть своей жизни, которую теперь приходится тратить на изучение языков».

С такими взглядами юный Шопенгауэр должен был готовиться к карьере торговца, но так, чтобы при этом не терять из виду положение джентльмена. Такое сочетание характеров требует, чтобы ученик не вырождался в простого ученого, а сохранял ту изящную середину, когда культура не заходит слишком далеко под поверхность и не уходит в слишком сдержанную и серьезную глубину. Так, в 1797 году, через год после рождения единственной сестры Адель, девятилетний Артур Шопенгауэр был взят отцом на экскурсию в Париж, а затем оставлен в Гавре в доме коммерческого корреспондента М. Грдгуара. Там он оставался в течение двух лет, получая уроки вместе с сыном хозяина дома, юным Антимом Грегуаром. Два мальчика вскоре стали закадычными друзьями, и в последующие годы они часто вспоминали эти счастливые дни детства. В 1799 году Артур в одиночку вернулся морем в Гамбург. За два года отсутствия он так основательно забыл родной язык, что сердце его отца было в восторге. Мы должны помнить то время. Старший Шопенгауэр по своим взглядам принадлежал к эпохе до Гете и к немцам эпохи Фридриха, которые едва начали замечать следы подъема немецкой литературы и которые, поклонники Вольтера и его соратников, верили в высшую космополитическую ценность французского и английского языков.

В Гамбурге Артур был отдан в частную школу, которую посещали сыновья богатых людей, и проучился в ней три года. Но мальчик чувствовал побуждения, которые не позволяли ему удовлетвориться несколько «современным» и коммерческим курсом, которому он следовал там, и не контролировал свое растущее отвращение к карьере, которая была ему предназначена. Он видел, как его родителей привлекало общество литературных людей: мать, в частности, придавала особое значение встречам с ними и их присутствию в своем доме. Ее интеллектуальные вкусы нашли отклик в сыне. Идеал литературной и научной жизни начал увлекать его. Он жаждал владеть пером не клерка, а автора. Уступая его настойчивым просьбам, отец зашел настолько далеко, что заговорил о приобретении для него канонического сана, чтобы обеспечить его ученость в будущем; но, наведя справки на этот счет, выяснил, что цена такого благодеяния будет немалой, и отказался от этой идеи. Тогда он предложил другой план, согласно которому его сыну предлагалась следующая альтернатива. При условии, что он пообещает, что в будущем посвятит себя меркантильной карьере, он должен был принять участие в длительной экскурсии по Франции и Англии, включая посещение своего друга юности в Гавре. Если же, напротив, он оставался приверженцем ученой карьеры, то должен был остаться в Гамбурге, продолжая изучать литературу и латынь. Пятнадцатилетний юноша вряд ли мог не высказаться в пользу немедленного удовольствия.

Шопенгауэр отправился в путь вместе с родителями весной 1803 года, чтобы вернуться в Гамбург только к Новому 1805 году. Путешественники (о впечатлениях которых мадам Шопенгауэр впоследствии опубликовала рассказ) направились через Амстердам и Кале в Англию. Проведя шесть недель в Лондоне, его родители отправились в путешествие по Англии и Шотландии до Лох-Тэя и Инверари, оставив Артура на три месяца своего отсутствия на попечение преподобного мистера Ланкастера в Уимблдоне. В пансионе этого человека (он был священнослужителем из Мертон, расположенного в нескольких милях отсюда) около шестидесяти мальчиков в возрасте от шести до шестнадцати лет получали обычное английское образование, с «музыкой, фехтованием и рисованием в качестве дополнительных занятий». Среди учеников были два племянника лорда Нельсона (который в это время жил в Мер-

тон-Плейс). Шопенгауэру, который тоже был «салочником», новый образ жизни показался очень неприятным.

Формальное обучение, долгие воскресные службы и строевой марш на Общем собрании – все это было бременем жалобных писем матери на его унылое положение. На его нетерпеливое ворчание она отвечала полусерьезным, полушутливым упреком. Ему напоминали, что он мог бы с пользой для себя вести себя более приветливо и уступчиво и что немного усердной работы над литературой, особенно историей, будет лучше, чем излишнее потворство роман- тике и фантастике. Прежде всего, его предупреждали – и многие кризисы в его жизни пока- зывают, насколько необходимым было это предупреждение, – что он должен как можно ско- рее положить конец своей склонности к напыщенности и пустому пафосу. К сожалению, эти недостатки характера и выражения были слишком радикально заложены в его натуре, чтобы их можно было устранить или подавить без суровой дисциплины и непреклонного руковод- ства. Но замечания его матери, хотя они и показывают, как мальчик был ярко выраженным отцом мужчины, проливают свет и на характер матери, и на ее отношение к сыну. Это слова несколько беспристрастного наблюдателя, которого привязанность не ослепила к недостаткам сына и который не чувствует острой обязанности твердо и внимательно обучать его неверным шагам. Немного любви – или немного строгости – было бы приятным дополнением к этому сугубо критическому отношению.

Шопенгауэр увез с собой неблагоприятное впечатление от системы пансионеров и от мно- гого в английском характере, симптомом которого она является. Как и большинство иностран- цев, молодых и старых, он был поражен преобладающим тоном ханжества и лицемерия и пре- обладанием церковных интересов в обычной жизни. Он начал записывать свои впечатления от увиденного. Но он редко описывает объективные факты; он записывает чувства, которые они вызывают в нем, идеи, которые они пробуждают и определяют. Не накопление знаний, а чувство, страсть, эмоциональная нота, которую они вызывают, – вот что он считает неизменно ценным. Так, в Лондоне посещение Вестминстерского аббатства обращает его мысли к тому грандиозному собранию великих умов в мире за гробом, где исчезли различия времени, места и звания, разделявшие их на земле, и они встречаются, облаченные лишь в родные украше- ния своего духа, в славу, завоеванную их собственным могуществом. Так рано он поклоняется гению и считает силу – врожденную силу, а не внешние знаки почета – единственным, что может противостоять разрушительной руке времени и смерти.

В ноябре 1803 года Шопенгауэры выехали из Англии через Роттердам в Париж, после тщательного осмотра которого они отправились в январе 1804 года через Тур, Бордо и Ним в Херес, а затем через Лион и Женеву в Вену, куда добрались около середины лета. Впечат- ления Артура от этих сцен были записаны лишь для иллюстрации той склонности, в которой его обвиняла мать, – «размышлять над страданиями людей». Во время путешествия по Фран- ции все прелести пейзажа однажды внезапно рассеиваются при виде жалких хижин и убогого человечества внутри них – некоторых из этих «животных, которых можно увидеть», – *poirs, livides, et tout brfilés du soleil – at the tanieres oil iis vivent de pain noir, d'eau ct de ratines*, как описал их Им Бруйбр более чем за столетие до этого. В Тулоне его поражает безнадежная судьба осужденных на галеры; даже если их вернут к свободе, проклятие преступления цепля- ется за них и холодно-отверженными взглядами окружающих гонит их обратно в свой изну- рительный круг. В Лионе он погружается в видения жутких ужасов времен революции, видя, как жители города весело прогуливаются по площади, где за десять лет до этого их отцы были убиты гранатой. Парень, очевидно, обладает сверхъестественным гамлетовским даром прони- кать под спокойную и улыбчивую поверхность жизни: он не может не видеть скелет, который ужасно ухмыляется в шкафу. Это своего рода второе зрение. Он не предвидит смерть и грядущую гибель, но в разгар жизненного пира его преследуют бледные лица и незрячие глаза, кото- рые узурпируют место живых. Или (если предвосхитить метафору, которую он впоследствии

заимствовал с Востока) «вуаль майи» – иллюзия,?... которая окутывает живых, чтобы они, не видя, легко проходили по расщелинам жизни и по ее унылым отходам, – уже пронзается для него внезапными проблесками прозрения в тайну невидимого. Несомненно, его ненормальная конституция, возможно, еще более расшатанная этим бродячим образом жизни, способствовала этим приступам угрюмой поглощенности неизбежным несчастьем мира. Такой дух может стать пророком и провидцем; конечно, это неудобное ясновидение не позволит его обладателю играть роль в социальной комедии или спокойно переносить мелкие заботы бытия.

Из Вены он вместе с родителями отправился в Берлин, где отец перебрался в Гамбург, оставив жену и сына, чтобы продолжить путь в Данцик, где последний был «конфирмован». Около четырех месяцев, работая в конторе данцикского купца, Артур пытался освоить практику счетной палаты и по неоднократным просьбам отца делал все возможное, чтобы приобрести хорошую деловую руку в выписывании счетов. Эти предписания готовиться к карьере торговца сочетаются в письмах отца с не менее настойчивым требованием приобрести изящную вертикальную осанку, даже если для этого придется приучать себя к правильной осанке, принимая удары по плечам за каждое отклонение от перпендикуляра.

В первые дни 1805 года молодой Шопенгауэр, которому тогда уже подходил к концу семнадцатый год, занял место в канцелярии гамбургского сенатора по фамилии Йениш. Но никогда, как он сам с пренебрежением признает (в автобиографическом очерке, который он впоследствии написал для берлинского факультета), не было худшего клерка в купеческой конторе. В любую свободную минуту он отрывался от работы, чтобы побаловать своих любимых авторов – книга была готова к открытию, как только он чувствовал, что надзирающий глаз отстраняется. Случилось так, что в тот год в Гамбург приехал френолог Галл, чтобы изложить свои тогдашние новые взгляды на физиологию психики, которые так сильно потрясли венское мнение. Чтобы посетить лекции Галля на эту увлекательную тему, о взаимосвязи между разумом и телом, или, скорее, о прямом проявлении духа в мозгу, Шопенгауэр не замедлил воспользоваться обычными уловками, с помощью которых люди, поставленные перед властью, пытаются обмануть начальство. В таком извращенном состоянии духа его резко остановила смерть отца. Нам мало что известно о меркантильной жизни последнего в Гамбурге. Зато известно, что после начала войны между Германией и Французской республикой торговля Гамбурга пошла в гору. Город стал главным перевалочным пунктом, где колониальная продукция Великобритании обменивалась на кукурузу и древесину с континента, а расчетным центром по всем векселям стал Гамбургский банк. Спекуляция, естественно, процветала; состояния делались и терялись с фатальной легкостью; цены выросли до огромных размеров. Запасы товаров продолжали накапливаться, и в 1799 году многие дома обанкротились. Позднее эти потери, похоже, коснулись и отца Шопенгауэра. Но помогли и другие обстоятельства. В течение нескольких лет он все больше усыхал; усиливались признаки тошноты и раздражительности. Старых друзей он не узнавал и относился к ним как к дерзким чужакам. Наконец, в апреле 1805 года его нашли однажды сброшенным с верхнего этажа зернохранилища в канал и подняли мертвым. Случайность или безумие стали причиной этого бедствия, остается неясным, но подозрения склоняются к тому, что это был акт самоуничтожения.

На Артура это событие обрушилось сокрушительным грузом. Отец и сын разошлись во мнениях относительно профессии, которой следует посвятить жизнь, но во многих оценках ее ценности они были согласны. И если молодой Шопенгауэр в глубине души чувствовал, что был не вполне верен своему договору, это чувство лишь усиливало горечь, которой была полна его душа. В течение двух лет он, хотя и со страшными стонами, продолжал оставаться на своем непрошеном посту. Его мать в более ранний срок начала пользоваться своей вновь обретенной независимостью. Бизнес был закрыт в течение года или около того, с некоторыми потерями, как и следовало ожидать, а вырученные деньги были вложены в различные ценные бумаги. Иоганна с дочерью Адель (ей было десять лет) отправилась в Веймар, куда добралась всего за две недели

до битвы при Йене (октябрь 1806 года). Там, в возрасте сорока лет, она начала новую, более свободную жизнь. Под вдохновляющим руководством Гете и на примере товарищей по «Круглому столу» искусств и литературы ее дремавшие таланты нашли выход в соответствующих сферах деятельности, как общественной, так и литературной. Вместе с дочерью она принимала участие в театральных представлениях, которые составляли основу жизни и интереса в Веймаре. Она сама нашла применение давно забытым художественным дарованиям и научилась пользоваться авторским пером. Ее дом стал одним из общественных центров Веймара, где часто бывали Гете и мелкие магнаты. Ее первым советчиком и директором в этом деле был К. Л. Фернов. Фернов, который является ярким примером того, как энтузиазм и терпение могут найти для литературных способностей подходящую сферу (из скромного происхождения он стал выдающимся ученым и искусствоведом), был уже поражен смертельной болезнью, которая унесла его в 1808 году. Между ним и вдовой завязалась теплая дружба; его критический талант и знание истории помогли ей преодолеть трудности начинающего автора. Первым ее литературным трудом стало редактирование жизни и воспоминаний об ушедшем друге; впоследствии она пыталась, и с большим успехом, публиковать художественные биографии, очерки о путешествиях и художественные произведения.

В то время как его мать с увлечением входила в легкомысленную, щедрую, но несколько хрупкую придворную богему писем, собравшуюся вокруг Гете, Шопенгауэр в Гамбурге становился все более недовольным собой, своей жизнью и своим окружением. Эти размышления, которым он предавался, черпали материал из его собственных чувств и обстоятельств, но гораздо больше они были обязаны форме, которую они заимствовали из литературных пристрастий эпохи. В последние годы XVIII века немецкий мир увидел, как литературное движение, кульминацией которого стал союз Гете и Шиллера, начало менять свой характер и переходить в руки других лидеров. Возникла так называемая «романтическая школа», в некотором роде развитие работ, начатых в Веймаре, но во многом реакция и протест. Гете и Шиллер казались слишком формальными и статуарными, удаленными своими идеальными высотами и олимпийским спокойствием от симпатий простого народа и от соприкосновения с национальной жизнью.

Истина и свет в их чистоте были классическим идеалом красоты; красоты простой, высокой, требующей от своего поклонника бескорыстной любви, суровой сдержанности, спокойного наслаждения. Немногие натуры могут найти полное удовлетворение в поклонении этому формальному и идеальному святилищу. Большинство жаждет смешать искусство с жизнью, соединить требования красоты с очарованием страстного интереса. Простая форма должна обрести краски эмоций, а притупленное чувство чистой красоты должно быть стимулировано привлекательностью разнообразия, новизны, необычности. Границы между искусством и наукой, искусством и жизнью, поэзией и религией должны были быть разрушены, чтобы усилить друг друга и произвести мощный эликсир энтузиазма.

Дать определение романтизму сложно: сами его приверженцы в этот период воспринимают его как некий дозор, значение которого они постепенно расшифровывают. В противовес периоду рационализма, утилитаризма и реалистического благоразумия, ортодоксальной классической регулярности, он поднимает знамя фантазии и воображения, религиозного и рыцарского идеализма, возвращения от обыденного настоящего к более величественному прошлому, и зовет за собой редкие и одухотворенные души, которые ищут более богатой и свободной жизни. В ней есть видение человеческого и личного чувства, быющего в самом центре всей природы и всего исторического процесса, но это не просто высокая и философская мудрость любви, а дышащее, изменчивое, сочувствующее сердце, которому дорога каждая деталь человеческого желания и цели; не всеобщее провидение и не моральный правитель, а индивидуальное сердце, готовое встретить и помочь во всем своем непостоянстве и слабости человеческим волям, жаждущим его благосклонного присутствия. С такой верой неизбежно, что

романтизм, спустившись с высот философского идеализма и платформы культуры, должен был стремиться приблизиться к скромному простому сердцу в те века, когда человек жил или мог жить ближе к природному духу, чем сейчас. И вот романтизм отвернулся от науки и современной цивилизации, чтобы искать дома естественной жизни, в средневековом мире, на таинственном Востоке, в так называемых суевериях у костра и в вульгарной среде. Нетерпеливый к закономерностям, он стал диким и фантастическим и по собственной воле поселился в мире, где факт постоянно вскакивает, чтобы вступить в брак с фантазией, какой бы причудливой она ни была, и который, к добру или к худу, является антиподом этого механического мира, в котором эмоции и чувства – лишь бессильные интерпоны.

У него были бесконечные желания и невозможные стремления, которые ничто конечное и временное никогда не сможет удовлетворить. Оно с удовольствием отмечает то, что называет «иронией» жизни, – то, как цель и благоразумие в самый момент свершения сводятся на нет более глубокой справедливостью судьбы, которая бессознательно управляет движением вещей. Он воображает, что вспоминает жизнь в более великом состоянии и с более свободными высказываниями, которую он прожил давным-давно, и с тоской возвращается к небесам, с которых он упал. В некоторых случаях, когда протестантизм кажется вершиной рационализма, романтизм, охваченный религиозным пылом, бросается за убежищем и спасением в лоно католицизма, который он воображает в той же мере, что и находит. Но не меньше он может искать вечные холмы в религиях далекого Востока или в пантеистических поглощениях. Он устал от того сияния искусственного света, которое распространили цивилизация, наука и разум, и хотел бы снова насладиться таинством ночи, когда сердце, кажется, простирается в безграничное пространство, и в темноте можно найти намек и симптом присутствия, которое делает мир менее одиноким и ограниченным.

В Гамбурге Шопенгауэр полностью подвластен подобным настроениям, а поскольку настроение у него мрачное, то и воображение расстроено. Жизнь кажется ему внутренним противоречием – даже шуткой, хотя и горькой. Контраст между дерзкими надеждами, стремлением к абсолютному и полному удовлетворению и жалкими свершениями, плодами, испорченными чувством обмана; вечными небесными стремлениями, которые, слабо порхая у райских врат, опускаются вниз, чтобы найти воплощение даже в грязи и пепле, – борьба между идеалом и реальностью, беспокойные желания, которые не могут успокоиться ни в одной из подлунных областей, – вот повторяющиеся тона, которые доминируют в его мыслях. В дифирамбических стихах он жаждет «взлететь к трону вечного», «покорить бедную и пустую жизнь, которая не может удовлетворить ни одного желания из наших бесконечных стремлений; забыть ничтожный прах, на который мы были брошены»; и, освободившись в жизни сверхъестественной, «в телах видеть и любить только духи». Только музыка давала ему тогда, как и в последние годы жизни, некоторые утешения. «Пульс божественной музыки, – пишет он, – не переставал биться сквозь века варварства; и в ней нам оставлен прямой отзвук вечного, понятный всем способностям и возвышающийся даже над добродетелью и пороком».

Его мать, озадаченная унынием мальчика и его яростной неприязнью к ежедневникам и бухгалтерским книгам, посоветовалась со своим другом Ферноу, не слишком ли поздно ее сыну начинать подготовку к научной карьере. Ферноу, который сам прошел через подобный опыт смены призвания, ответил, что при наличии упорства и таланта у ученика восемнадцатилетний возраст не является непреодолимым препятствием для знакомства с классическими языками, которое является предварительным условием для всех более высоких достижений. На самом деле, добавил он, возраст ученика, если его интеллектуальные способности были развиты иначе и если его рвение к знаниям искренне и непоколебимо, только подготовит его к более быстрому и рациональному усвоению уроков классического обучения. Получив это сообщение, вложенное в письмо с согласием матери, Шопенгауэр разразился слезами радости, сразу же подал директору прошение об отставке и приготовился покинуть Гамбург. Таким

образом, отцовский план карьеры мальчика подошел к концу, и сын мог показаться неплательщиком за свою веру, обещанную много лет назад. Да и сам сын, возможно, был бы склонен обвинить отца в том, что тот был суровым воспитателем, который упорно не хотел замечать его особый нрав и таланты. Однако с годами сын все больше убеждался в том, как много отец сделал для его благополучия. Он с благодарностью говорил о нем своим молодым друзьям, рассказывал им о роскошном доме, который содержал его отец, и об их величественном стиле путешествий, добавляя, что купец – это блестящее исключение из общей подлой и лицемерной жизни других сословий. Но лучшее свидетельство его чувств можно найти в следующем отрывке из его бумаг; очевидно, это первый черновик декларации, которая в свое время должна была стать главой второго издания его главного труда: «Я не знаю, что это такое.

«Посвящаю второе издание мане моего отца, купца Генриха Флориса Шопенгауэра.

«Благородный, благотельный дух, которому я обязан всем, что я есть. Твоя заботливая опека укрывала и опекала меня не только в беспомощном детстве и беспечной юности, но даже в зрелом возрасте и по сей день. Ибо, поскольку Ты произвел на свет такого сына, как я, Ты позаботился и о том, чтобы в таком мире, как этот, этот сын мог существовать и развиваться. И без этой твоей заботы я бы уже сто раз был обречен на гибель. В моем сознании слишком прочно укоренилась склонность к своему единственно правильному призванию, чтобы я мог совершить насилие над своей природой и так подчинить ее себе, чтобы, не считаясь с существованием вообще и заботясь только о своем личном существовании, она нашла свою единственную задачу в добывании хлеба насущного. Но и на этот случай ты, кажется, предусмотрел, что он не будет приспособлен пахать землю или иным механическим способом прилагать свои силы для обеспечения пропитания; и ты, кажется, предвидел, что сын твой, гордый республиканец, не сможет обладать талантом соперничать, *mldiocre et rampant...*, в том, чтобы унижаться перед министрами и советниками, меценатами и их советниками, подлю выпрашивая с трудом заработанный кусок хлеба, или льстить самодовольному простоудию, смиренно присоединяясь к хвалебной свите бездельников-шарлатанов; что он, как сын твой, предпочел бы думать вместе с твоим почитаемым Вольтером: *Notis ri avons que deux jours a vivre: il ne vaut fas la peine de les passer a ramper devant des coquins meprisables.*

«Поэтому тебе я посвящаю свой труд и приветствую тебя в твоей могиле с криком благодарности, которой я обязан только тебе и никому другому. *Nam Cossar nullus nobis haec otia fecit.*

«То, что я могу использовать силы, данные мне природой, и применить их по назначению, то, что я могу следовать своему природному инстинкту и думать и работать для существ без числа, в то время как никто ничего не делает для меня: за это я благодарю тебя, мой отец, благодарю твою деятельность, твоё благоразумие, твою бережливость и обеспечение на будущее. Поэтому я буду славить тебя, мой благородный отец. И каждый, кто извлекает из моего труда хоть какую-то радость, утешение или наставление, пусть узнает имя твое и знает, что если бы Генрих Флорис Шопенгауэр не был тем, кем он был, Артур Шопенгауэр был бы во сто крат разорен. И пусть моя благодарность сделает для тебя, завершившего свой путь, единственное, на что я способен; пусть она пронесет твоё имя так далеко, как способна пронести его моя.»

ГЛАВА III

Эпоха, когда Шопенгауэр начал стремиться войти с помощью учености в тесный круг высшего образования, стала поворотным пунктом в филологическом прогрессе. Старая латинская подготовка семнадцатого века, ставившая своей главной целью умение писать на изящном латинском языке, была в значительной степени дискредитирована утилитарными и практическими тенденциями восемнадцатого. Под названием «филантропинизм» началось активное движение за то, чтобы сделать методы обучения более простыми и естественными, а также придать большее значение влиянию школьных уроков на занятия взрослой жизни. В крайних формах филантропинизм, вероятно, опускался до вульгарной преданности ощутимым результатам и неоправданного презрения к более идеальному обучению; но во многих отношениях он был разумным протестом против бесплодного служения тонкостям грамматики и против курса занятий, предназначенного только для подготовки школьных учителей. Но это отклонение от традиций либерального и ученого обучения привело к соответствующей реакции. Классические исследования отправились в новый, более свободный полет. Их поборники утверждали, что непосредственное знакомство с идеями греко-римского мира, которым могли в полной мере насладиться только те, кто в совершенстве владел языками оригинала, было неоценимым инструментом в работе над тем «воспитанием человечности», которое было великим требованием для высшей жизни в современном мире.

Волна греческого энтузиазма охватила всех: казалось, это было почти опьянение. Современный мир разочаровал даже самых надеющихся. Немногие из тех, кто в 1789 году приветствовал восстание Франции против ее старой монархии, как будто наконец-то взойшло солнце свободы, сохранили при Наполеоне свою щедрую веру в Революцию. А крушение старого королевства Фридриха после 1806 года разрушило последние надежды найти спасение в старой государственной системе Германии. В темноте и пустоте люди обратились, как это делали Гете и Шиллер, к Греции, чтобы найти вдохновение для более свободной, более человеческой жизни. Даже такой спокойный философ, как Герbart, высказывал мнение, что классическое образование должно начинаться с греческого языка, и что «Одиссея», тона и краски которой точно соответствуют диапазону и темпераменту мальчишеского ума, является той литературой, на которой мальчик от восьми до двенадцати лет может пасти свой авантюрный дух. Вильгельм фон Гумбольдт, государственный деятель, который помог сформировать эту образовательную схему, с которой, наряду с другими реформами, началась новая эра для Пруссии, всю жизнь жил и дышал живительным воздухом греческих идеалов, моральных, религиозных и интеллектуальных. И этот эллинский культ, естественно, был враждебен гебраистским элементам в религии. Главным иерофантом новой веры, сначала в Галле, а затем в Берлине, был Ф. А. Вольф, пролегомен к Гомеру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.